

Борис АКУНИН

**ОСОБЫЕ ПОРУЧЕНИЯ:
ДЕКОРАТОР**

**(Приключения Эраста Фандорина
#6)**

СКВЕРНОЕ НАЧАЛО

4 апреля, великий вторник, утро

Эраста Петровича Фандорина, чиновника особых поручений при московском генерал-губернаторе, особу 6 класса, кавалера российских и иностранных орденов, выворачивало наизнанку.

Тонкое, бледное до голубизны лицо коллежского советника страдальчески кривилось, одна рука, в белой лайковой с серебряными кнопочками перчатке была прижата к груди, другая судорожно рассекала воздух – этой неубедительной жестикуляцией Эраст Петрович хотел успокоить своего помощника: ничего, мол, ерунда, сейчас пройдет. Однако судя по продолжительности и мучительности спазмов это была очень даже не ерунда.

Помощнику Фандорина, губернскому секретарю Анисию Питиримовичу Тюльпанову, тощему, невзрачному молодому человеку 23 лет, никогда еще не доводилось видеть шефа в столь жалком состоянии. Тюльпанов и сам, впрочем, был несколько зелен лицом, но перед рвотным соблазном устоял и теперь втайне этим гордился. Впрочем, недостойное чувство было мимолетным и потому внимания не заслуживающим, а вот неожиданная чувствительность обожаемого шефа, всегда такого хладнокровного и к сантиментам не расположенного, встревожила Анисия не на шутку.

– П-подите..., – морщась и вытирая перчаткой лиловые губы, выдавил Эраст Петрович. Всегдашнее легкое заикание, память о давней контузии, от нервного расстройства заметно усилилось. – Т-туда подите... Пусть п-протокол, п-подробный... Фотографические с-снимки во всех ракурсах. И следы чтоб не за...за...затоптали...

Его снова согнуло в три погибели, но на сей раз вытянутая рука не дрогнула – перст непреклонно указывал на кривую дверь дощатого сарайчика, откуда несколькими минутами ранее коллежский советник вышел весь бледный, на подгибающихся ногах.

Идти назад, в серый полумрак, где вязко пахло кровью и требухой, Анисию не хотелось. Но служба есть служба.

Набрал в грудь побольше сырого апрельского воздуха (эх, самого бы не замутило), перекрестился и – как головой в омут.

В лачуге, использовавшейся для хранения дров, а ныне по случаю скорого окончания холодов почти опустевшей, собралось изрядное количество народу: следователь, агенты из сыскной, частный пристав, квартальный надзиратель, судебный врач, фотограф, городовые и еще дворник Климук, обнаруживший место чудовищного злодеяния – утром сунулся за дровишками, узрел, поорал сколько положено, да и побежал за полицией.

Горело два масляных фонаря, по низкому потолку колыхались неспешные тени. Было тихо, только в углу тонко всхлипывал и шмыгал носом молоденький городской.

– Ну-с, а это у нас что? – с любопытством промурлыкал судебно-медицинский эксперт Егор Виллемович Захаров, поднимая с пола рукой в каучуковой перчатке нечто ноздреватое, иссиня-багровое. – Никак селезеночка. Вот и она, родимая. Отлично-с. В пакетик ее, в пакетик. Еще утроба, левая почка, и будет полный комплект, не считая всякой мелочи... Что это у вас, мсье Тюльпанов, под сапогом? Не брыжейка?

Анисий глянул вниз, в ужас шарахнулся в сторону и чуть не споткнулся о распростертое тело девицы Андреичкиной, Степаниды Ивановны, 39 лет. Эти сведения, равно как и дефиниция ремесла покойной, были почерпнуты из желтого билета, аккуратно лежавшего на вспоротой груди. Более ничего аккуратного в посмертном обличье девицы Андреичкиной не наблюдалось.

Лицо у ней, надо полагать, и при жизни собой не видное, в смерти стало кошмарным: синюшное, в пятнах слипшейся пудры, глаза вылезли из орбит, рот застыл в беззвучном вопле. Ниже смотреть было еще страшней. Кто-то располосовал бедное тело гулящей вдоль и поперек, вынул из него всю начинку и разложил на земле причудливым узором. Правда, Егор Виллемович успел уже почти всю эту выставку собрать и по нумерованным пакетам разложить. Осталось только черное пятно привольно растекшейся крови, да мелкие лоскуты не то искромсанного, не то изорванного платья.

Леонтий Андреевич Ижицын, следователь по важнейшим делам при

окружном прокуроре, присел на корточки подле врача, деловито спросил:

– Следы соития?

– Это я вам, голуба, после обрисую. Отчетец составлю, и все как есть отображу. Тут, сами видите, тьма египетская и стон кромешный.

Как всякий инородец, в совершенстве овладевший русским языком, Егор Виллемович любил вставлять в свою речь разные заковыристые обороты. Несмотря на вполне обычную фамилию, был эксперт британских кровей. В царствие покойного государя приехал докторов батюшка, тоже лекарь, в Россию, прижился, а трудную для русского уха фамилию Зэкарайэс приспособил к местным условиям – Егор Виллемович по дороге, как в пролетке ехали, сам рассказывал. По нему и видно, что не свой брат русак: долговязый, мосластый, волоса песочные, рот широкий, безгубый, подвижный, беспрестанно перегоняющий из угла в угол дрянную пеньковую трубку.

Следователь Ижицын с показным интересом, явно бравируя, посмотрел, как эксперт вертит в цепких пальцах очередной комок истерзанной плоти и саркастически поинтересовался:

– Что, господин Тюльпанов, ваш начальник все воздухом дышит? А я говорил, преотлично обошлись бы и без губернаторского надзора. Не для утонченных глаз картинка, а мы люди ко всему привычные.

Понятное дело – недоволен Леонтий Андреевич, ревнует. Шутка ли – самого Фандорина за расследованием глядеть приставили. Какому ж следователю такое понравится.

– Да что ты, Линьков, как девка! – рыкнул Ижицын на всхлипывающего полицейского. – Привыкай. Ты не для «особых поручений», стало быть, всякого еще насмотришься.

– Не приведи Господь к такому привыкнуть, – вполголоса пробурчал старший городовой Приблудько, служака старый и опытный, Анисию известный по одному третьегодншному делу.

Так ведь и с Леонтием Андреевичем не в первый раз вместе работать приходилось. Неприятный господин – дерганный весь, беспрестанно

посмеивается, а глаза колючие. Одет с иголочки, воротнички будто из алебаstra, манжеты и того белее, сам всё по плечам щелкает, соринки сбивает. Честолюбец, большую карьеру делает. Только вот на минувшее Крещение у него с расследованием по духовной купца Ситникова заминка вышла. Дело было шумное, отчасти даже затрагивающее интересы влиятельных особ и потому проволочки не терпящее, ну его сиятельство князь Долгорукой и попросил Эраста Петровича помочь прокуратуре. А из шефа известно какой помощник – взял да все дело в один день распутал. Не зря Ижицын бесится. Предчувствует, что сызнова ему без лавров оставаться.

– Вроде всё, – объявил следователь. – Стало быть, так. Труп в полицейский морг, на Божедомку. Сарай опечатать и городского поставить. Агентам опросить всех окрестных жителей, да построже. Не слыхали ли, не видали ли чего подозрительного. Ты, Климук, в последний раз за дровами в одиннадцатом часу заходил, так? – спросил Леонтий Андреевич дворника. – А смерть наступила не позднее двух ночи? (Это уже эксперту Захарову). Стало быть, интересоваться промежутком с начала одиннадцатого часа до двух пополуночи. – И снова Климуку. – Ты, может, с кем говорил уже из тутошних? Не рассказывали чего?

Дворник (пегая борода веником, кустистые брови, шишковатый череп, рост два аршина четыре вершка, особая примета – бородавка посередь лба, упражнялся в составлении словесного портрета Анисий) стоял, комкал и без того до невозможности мятый картуз.

– Никак нет, ваше высокоблагородие. Нешто мы не понимаем. Дверь сарая подпер и побег к господину Приблудько. А из околотка меня уж не пущали, пока начальники не придут. Обыватели, они и знать ничего не знают. То есть, конечно, видеть-то видят, что полиции понаехало... Что господа полицейские прибыть изволили. А про страсть эту (дворник боязливо покосился в сторону трупа) жителям неведомо.

– Вот это мы и проверим, – усмехнулся Ижицын. – Стало быть, агенты – за работу. А вы, господин Захаров, увозите свои сокровища. И чтоб к полудню полное заключение, по всей форме.

– Господ агентов п-прошу оставаться на месте, – раздался сзади негромкий голос Эраста Петровича. Все обернулись.

Как вошел коллежский советник, когда? И дверь-то не скрипнула. Даже в полумраке было видно, что шеф бледен и расстроен, однако голос ровный и манера говорить всегдашняя – сдержанная, учтивая, но такая, что возражать не захочешь.

– Господин Ижицын, даже дворник понял, что б-болтать о происшествии не следует, – сухо сказал Эраст Петрович следователю. – Я, собственно, для того и прислан, чтобы обеспечить строжайшую секретность. Никаких опросов. Более того, всех присутствующих прошу и даже обязываю хранить об обстоятельствах дела полное молчание. Жителям объяснить, что... п-повесилась гулящая, наложила на себя руки, обычное дело. Если по Москве поползут слухи о произошедшем, каждый из вас попадет под служебное расследование, и тот, кто окажется виновен в разглашении, понесет суровое наказание. Извините, господа, но т-таковы полученные мною инструкции, и на то есть свои причины.

Городовые по знаку доктора взяли было стоявшие у стены носилки, чтобы положить на них труп, но коллежский советник поднял руку:

– П-погодите.

Он присел над убитой.

– Что это у нее на щеке?

Ижицын, уязвленный репримандом, пожал узкими плечами:

– Пятно крови. Тут, как вы могли заметить, крови в избытке.

– Но не на лице.

Эраст Петрович осторожно потер овальное пятно пальцем – на белой перчаточной лайке остался след. С чрезвычайным, как показалось Анисию, волнением коллежский советник (а для Тюльпанова просто «шеф») пробормотал:

– Ни пореза, ни укуса.

Следователь наблюдал за манипуляциями чиновника с недоумением, эксперт Захаров с интересом.

Достав из кармана лупу, Фандорин прильнул к самому лицу жертвы, всмотрелся и ахнул:

– След губ! Господи, это след поцелуя! Не может быть никаких сомнений!

– Что же так убиваться-то? – съязвил Леонтий Андреевич. – Тут есть метки и пострашнее. – Он качнул носком штиблета в сторону раскрытой грудной клетки и зияющей ямы живота. – Мало ли что взбредет в голову полоумному.

– Ах как скверно, – пробормотал коллежский советник, ни к кому не обращаясь.

Быстрым движением сорвал запачканную перчатку, отшвырнул в сторону. Выпрямился, прикрыл глаза – и совсем тихо:

– Боже, неужели это начнется в Москве...

* * *

What a piece of work is man! how noble in reason! how infinite in faculty! in form and moving how express and admirable! in action how like an angel! in apprehension how like a god! the beauty of the world! the paragon of animals! And yet, to me, what is this quintessence of dust! Пускай. Пускай Принцу Датскому, существу праздному и блазироваанному, до человека дела нет, а мне есть! Бард прав наполовину: в людских деяниях мало ангельского, и кощунство – уподоблять разумение человека Божьему, но воистину прекрасней человека нет ничего на свете. Да что такое дела и разумение – обман, химера, суета, воистину квинтэссенция праха. Человек – это не дело, а Тело. Даже ласкающие взор растения, самые пышные и затейливые из цветов, не идут ни в какое сравнение с великолепным устройством человеческого тела. Цветы примитивны и просты, одинаковы внутри и снаружи: что так поверни лепесток, что этак. Смотреть на цветы скучно. Где их алчным стебелькам, убого-геометричным соцветьям и жалким тычинкам до пурпура упругих мышц, эластика шелковистой кожи, серебристого перламутра желудка, грациозных извивов кишечника и таинственной асимметричности печени!

Разве сравнится монотонность окраски цветущего мака с многообразием оттенков человеческой крови – от пронзительно-алого артериального тока до царственного венозного порфира? Куда там вульгарной синеве колокольчика до нежно-голубого рисунка капилляров или осенней раскраске клена до багрянца месячных истечений! Женское тело изысканней и во сто крат интереснее мужского. Функция женского тела – не грубый труд и разрушение, а созидание и пестование. Упругая матка похожа на драгоценную раковину-жемчужницу. Идея! Надо будет как-нибудь вскрыть оплодотворенную утробу, чтобы внутри жемчужницы обнаружить созревающую жемчужину – да-да, непременно! Завтра же!

Слишком долго пришлось мне поститься, с самой масленицы. Мои губы иссохли, повторяя: «Оживи окаянное сердце мое постом страстоубийственным!» Господь добр и милостив, Он не рассердится на меня за то, что не хватило сил дотерпеть шести дней до Светлого Воскресения. В конце концов 3 апреля – не просто день, это годовщина Озарения. Тогда тоже было 3 апреля. Что по другому стилю – неважно.

Главное звук, музыка слов: тре-тье ап-ре-ля.

У меня свой пост, своя и Пасха. Уж разговление, так разговление. Нет, не стану ждать до завтра. Сегодня! Да-да, устроить пир. Не насытиться, а пресытиться. Не ради себя – во славу Божию.

Ведь это Он разверз мне глаза – научил видеть и понимать истинную красоту. Больше того, раскрывать ее и являть миру. А раскрыть это все равно что сотворить. Я – подмастерье Творца.

Как сладостно разговеться после долгого воздержания. Я вспоминаю каждый сладостный миг, я знаю, что память сохранит всё вплоть до мельчайших деталей, не растеряв ни одного из зрительных, вкусовых, осязательных, слуховых и обонятельных ощущений.

Я закрываю глаза и вижу.

Поздний вечер. Мне не спится. Волнение и восторг ведут меня по грязным улицам, по пустырям, меж кривых домишек и покосившихся заборов. Я не сплю уже много ночей подряд. Давит грудь, сжимает виски. Днем я забываюсь на полчаса, на час, и просыпаюсь от страшных видений, которых наяву не помню.

Я иду и мечтаю о смерти, о встрече с Ним, но знаю: умирать мне нельзя, еще рано, моя миссия не исполнена.

Голос из темноты: «Па-азвольте на полштофчика». Дребезжащий, пропитой. Оборачиваюсь и вижу гнуснейшее и безобразнейшее из человеческих существ: опустившуюся шлюху – пьяную, оборванную, но при этом гротескно размалеванную белилами и помадой.

Я брезгливо отворачиваюсь, но внезапно знакомая острая жалость пронзает мое сердце. Бедное создание, что ты с собой сделала! И это женщина, шедевр Божьего искусства! Так надругаться над собой, осквернить и опошлить дар Божий, так унижить свою драгоценную репродуктивную систему!

Ты, конечно, не виновата. Бездушное, жестокое общество вывалило тебя в грязи. Но я тебя отчищу и спасу. На душе светло и радостно.

Кто знал, что так выйдет. У меня не было намерения нарушать пост – иначе путь мой лежал бы не через эти жалкие трущобы, а через зловонные закоулки Хитровки или Грачевки, где гнездятся мерзость и порок. Но великодушные и щедрость переполняют меня, совсем немного подцвеченные нетерпеливой жаждой.

«Я тебя сейчас обрадую, милая, – говорю я. – Идем со мной».

Я в мужском платье, и ведьма думает, что нашелся покупатель на ее гнилой товар. Она хрипло смеется, пожимает плечами: «Куды идем-то? Слышь, у тебя деньга-то есть? Покорми хоть, а лучше поднеси». Бедная, заблудшая овечка.

Я веду ее за собой через темный двор, к сараям. Нетерпеливо дергаю одну дверь, другую, третья незаперта.

Счастливица дышит мне в затылок самогонным перегаром, подхихикивает: «Ишь ты, в сарай ведет. Ишь ты, приспичило-то».

Взмах скальпеля, и я отворяю ее душе двери свободы.

Освобождение не дается без мук, это как роды. Той, кого я сейчас люблю всем сердцем, очень больно, она хрипит и грызет кляп, а я глажу ее по голове и утешаю: «Потерпи». Руки споро и чисто делают свое дело. Свет мне не нужен, мои глаза видят ночью не хуже, чем днем.

Я раскрываю оскверненную, грязную оболочку тела, душа возлюбленной сестры моей взмывает вверх, я же замираю в благоговении перед совершенством божественного механизма.

Когда я с ласковой улыбкой подношу к лицу горячий колобок сердца, оно еще трепещет, еще бьется пойманной золотой рыбкой, и я нежно целую чудесную рыбку в распахнутые губки аорты.

Место выбрано удачно, никто не мешает мне, и на сей раз гимн Красоте пропет до конца, заверченный лобзанием щеки. Спи, сестра, твоя жизнь была гадка и ужасна, твой облик оскорблял взоры, но благодаря мне ты стала прекрасной.

Взять тот же цветок. Истинная его красота видна не на лужайке и не на

клумбе, о нет! Роза царственна в корсаже, гвоздика в петлице, фиалка в волосах прелестницы. Триумф цветка наступает, когда он уже срезан, настоящая его жизнь неотрывна от смерти. То же и с человеческим телом. Пока оно живет, ему не дано явить себя во всем великолепии своего восхитительного устройства. Я помогаю телу царствовать. Я садовник.

Хотя нет, садовник лишь срезает цветы, а я еще и создаю из телесных органов пьянящей красоты панно, величественную декорацию. В Англии входит в моду небывалая прежде профессия – decorator, специалист по украшению дома, витрины, праздничной улицы.

Я не садовник, я decorator .

ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ ХУЖЕ

4 апреля, великий вторник, полдень

На чрезвычайном совещании у московского генерал-губернатора князя Владимира Андреевича Долгорукого присутствовали: обер-полицеймейстер генерал-майор свиты его императорского величества Юровский; прокурор московской судебной палаты действительный статский советник камергер Козлятников; начальник сыскной полиции статский советник Эйхман; чиновник особых поручений при генерал-губернаторе коллежский советник Фандорин; следователь по важнейшим делам при прокуратуре московской судебной палаты надворный советник Ижицын.

– Погода-то, погода какова, мерзавка, – такими словами открыл Владимир Андреевич секретное заседание. – Ведь это свинство, господа. Пасмурно, ветер, слякоть, грязь, а хуже всего, что Москва-река больше обычного разлилась. Я ездил в Замоскворечье – кошмар и ужас. На три с половиной сажени вода поднялась! Залило все аж до Пятницкой. Да и на левом берегу непорядок. По Неглинному не проехать. Ох, осраимся, господа. Опозорится Долгорукой на старости лет!

Все присутствующие озабоченно завздыхали, у одного лишь следователя по важнейшим делам на лице отразилось некоторое изумление, и князь, отличавшийся редкостной наблюдательностью, счел возможным пояснить:

– Я вижу, вы, молодой человек, ... э-э... кажется, Глаголев? Нет, Букин.

– Ижицын, ваше высокопревосходительство, – подсказал прокурор, но недостаточно громко – на семьдесят девятом году жизни стал московский вице-король (называли всесильного Владимира Андреевича и так) туговат на ухо.

– Извините старика, – добродушно развел руками губернатор. – Так вот, господин Пыжицын, я вижу, вы в неведении... Вероятно, вам и по

должности не положено. Но уж раз совещание... Так вот, – длинное, с вислыми каштановыми усами лицо князя обрело торжественность, – на светлую Пасху Христову первопрестольную осчастливит приездом его императорское величество. Прибудут без помпы, без церемоний – поклониться московским святыням. Велено москвичей заранее не извещать, ибо визит замыслен словно бы *impromptu*. Что, однако же, не снимает с нас ответственности за уровень встречи и общее состояние города. Вот, к примеру, господа, получаю нынче утром послание от высокопреосвященного Иоанникия, митрополита московского. Жалуется владыка, пишет, что в кондитерских магазинах перед Святой Пасхой наблюдается форменное безобразие: витрины и прилавки сплошь уставлены конфетными коробками и бонбоньерками с изображением Тайной Вечери, Крестного Пути, Голгофы и прочего подобного. Это же кощунство, господа! Извольте-ка, милостивый государь, – обратился князь к обер-полицеймейстеру, – сегодня же издать приказ по полиции, чтобы подобные непотребства строжайше пресекались. Коробки уничтожать, содержимое передавать в Воспитательный дом. Пусть сиротки на праздник полакомятся. А лавочников еще и штрафовать, чтоб не подводили меня под монастырь перед высочайшим прибытием!

Генерал-губернатор взволнованно поправил чуть съехавший на бок кудреватый паричок, хотел еще что-то сказать, да закашлялся.

Неприметная дверца, ведшая во внутренние покои, немедленно отворилась, и оттуда, неслышно переступая полусогнутыми ногами в войлочных ботах, выкатился худущий старик с ослепительно сияющим лысым черепом и преогромными бакенбардами – личный камердинер его сиятельства Фрол Григорьевич Ведищев. Это внезапное явление никого не удивило. Все присутствующие сочли необходимым поприветствовать вошедшего поклоном или хотя бы кивком, ибо Фрол Григорьевич, невзирая на скромное свое положение, почитался в древнем городе особой влиятельной и в некотором смысле даже всемогущей.

Ведищев быстренько накапал из склянки в серебряный стаканчик какой-то микстуры, дал князю выпить и столь же стремительно исчез в обратном направлении, так ни на кого и не взглянув.

– Шпашибо, Фрол, шпашибо, голубщик, – прошамкал вслед наперснику генерал-губернатор, подвигал подбородком, чтобы челюсти встали на

место, и продолжил уже безо всякого пришепетывания. – Так что пусть Эраст Петрович изволит объяснить, чем вызвана срочность настоящего совещания. Вы ведь, душа моя, отлично знаете, у меня нынче каждая минута на счету. Ну, что там у вас стряслось? Вы позаботились о том, чтобы слухи об этой пакости с расчленением не распространились среди обывателей? Этого только не хватало накануне высочайшего приезда...

Эраст Петрович встал, и взоры высших блюстителей московского правопорядка обратились на бледное, решительное лицо коллежского советника.

– Меры по сохранению т-тайны приняты, ваше сиятельство, – стал докладывать Фандорин. – Все, кто был причастен к осмотру места преступления, предупреждены об ответственности, с них взята роспись в неразглашении. Обнаруживший тело дворник как лицо склонное к неумеренному питью и за себя не ручающееся временно помещен в особую к-камеру Жандармского управления.

– Хорошо, – одобрил губернатор. – Так что ж тогда за надобность в совещании? Зачем вы просили собрать начальников следственного и полицейского ведомств? Решили бы все вдвоем с Пыжицыным.

Эраст Петрович невольно взглянул на следователя, которому удивительно шла изобретенная князем фамилия, однако в настоящую минуту коллежскому советнику было не до веселья.

– Ваше высокопревосходительство, я не п-просил вызвать господина начальника сыскной полиции. Дело настолько тревожное, что его следует отнести к разряду преступлений государственной важности, и заниматься им помимо прокуратуры должен оперативный отдел жандармерии под личным контролем господина обер-полицмейстера. Сыскную же полицию я не подключал бы вовсе, там слишком много случайных людей. Это раз.

И Фандорин сделал многозначительную паузу. Статский советник Эйхман встрепенулся было протестовать, но князь жестом велел ему молчать.

– Выходит, зря я вас беспокоил, голубчик, – ласково сказал Долгорукой. – Вы уж идите и прижмите там своих карманников и фармазонщиков, чтоб в светлое Воскресенье разговлялись у себя на Хитровке и упаси Боже носа оттуда не казали. Очень я на вас, Петр Рейнгардович, надеюсь.

Эйхман встал, молча поклонился, улыбнулся одними губами Эрасту Петровичу и вышел.

Коллежский советник вздохнул, отлично понимая, что отныне приобрел в начальнике московского сыска вечного врага, но дело и вправду было страшное, лишнего риска не терпящее.

– Знаю я вас, – сказал губернатор, с беспокойством глядя на своего доверенного помощника. – Если сказали «раз», значит, будет и «два». Говорите же, не томите.

– Мне очень жаль, Владимир Андреевич, но визит государя придется отменить, – произнес Фандорин весьма тихо, однако на сей раз князь отлично расслышал.

– Как «отменить»? – ахнул он.

Прочие присутствующие встретили возмутительное заявление вконец зарвавшегося чиновника более бурно.

– Да вы с ума сошли! – вскричал обер-полицеймейстер Юровский.

– Это неслыханно! – проблеял прокурор.

А следователь по важнейшим делам сказать вслух ничего не осмелился, ибо был для такой вольности недостаточного звания, но зато поджал пухлогубый рот, как бы возмущаясь безумной фандоринской выходкой.

– Как отменить? – упавшим голосом повторил Долгорукой.

Дверца, ведущая во внутренние покои, приоткрылась, и из-за створки до половины высунулась физиономия камердинера.

Губернатор с чрезвычайным волнением заговорил, торопясь и оттого глотая слоги и целые слова:

– Эраспетрович, не первый год... Вы слов на ветер... Но отменить высочайший? Ведь это скандал неслыханный! Вы же знаете, сколько я добивался... Это же для меня, для всех нас...

Фандорин нахмурил высокий чистый лоб. Ему было отлично известно, как долго и изворотливо интриговал Владимир Андреевич, добиваясь высочайшего посещения. А какие козни строила враждебная петербургская «камарилья», уже двадцать лет пытающаяся согнать старого хитреца с завидного места! Пасхальный impromptu его величества был для князя триумфом, верным свидетельством несокрушимости его положения. На следующей неделе у его сиятельства большущий юбилей – шестьдесят лет службы в офицерских чинах. По такому случаю можно и на Андрея Первозванного надеяться. И вдруг взять и самому просить об отмене!

– Все п-понимаю, ваше сиятельство, но если не отменить, будет еще хуже. Это расчленение не последнее. – Лицо коллежского советника с каждым словом делалось все мрачней. – Боюсь, что в Москву перебрался Джек Потрошитель.

И опять, как несколькими минутами ранее, заявление Эраста Петровича заставило присутствующих заговорить хором.

– Как это не последнее? – возмутился генерал-губернатор.

Обер-полицейместер и прокурор почти в один голос переспросили:

– Джек Потрошитель?

А Ижицын, осмелев, фыркнул:

– Бред!

– Какой такой потрошитель? – проскрипел из-за своей дверки Фрол Григорьевич Ведищев, когда естественным манером образовалась пауза.

– Да-да, что еще за Джек такой! – Его сиятельство воззрился на подчиненных с явным неудовольствием. – Все знают, один я не посвящен. И вечно у вас так!

– Это, ваше сиятельство, известный английский душегуб, который режет в Лондоне гулящих девок, – пояснил важнейший следователь.

– Если позволите, Владимир Андреевич, я расскажу п-подробно.

Эраст Петрович достал из кармана блокнот, перелистнул несколько страничек.

Князь приложил к уху ладонь, Ведищев нацепил очки с толстыми стеклами, а Ижицын иронически улыбнулся.

– Как помнит ваше сиятельство, в минувшем году я провел несколько месяцев в Англии, в связи с известным вам д-делом о пропавшей переписке Екатерины Великой. Вы, Владимир Андреевич, еще выражали неудовольствие моей затянувшейся отлучкой. Я задержался в Лондоне сверх необходимого, ибо внимательно следил за тем, как местная полиция пытается разыскать чудовищного убийцу, который в течение восьми месяцев, с апреля по декабрь минувшего года, совершил в Ист-Энде восемь зверских убийств. Убийца держался пренагло. Писал полиции записки, в которых именовал себя Jack the Ripper, то есть «Джек Потрошитель», а один раз даже прислал комиссару, ведущему расследование, половину почки, что была вырезана у жертвы.

– Вырезана? Но зачем? – удивился князь.

– Злодеяния Потрошителя п-произвели на публику столь тягостное впечатление не из-за самого факта убийств. В таком большом и неблагополучном городе как Лондон преступлений, в том числе и с кровопролитием, разумеется, хватает. Но манера, с которой Потрошитель расправлялся со своими жертвами, была поистине монструозна. Обычно он перерезал бедным женщинам горло, а после потрошил их, как куропаток, и раскладывал вынутые внутренности наподобие кошмарного натюрморта.

– Царица небесная! – охнул Ведищев и перекрестился.

Губернатор с чувством произнес:

– Что за мерзость вы рассказываете. И что же, так негодяя и не сыскали?

– Нет, но с декабря характерные убийства прекратились. Полиция пришла к выводу, что преступник либо покончил с собой, либо... покинул пределы Англии.

– И делать ему нечего кроме как отправляться к нам в Москву, – скептически покачал головой обер-полицеймейстер. – А ежели и так, то

головореза-англичанина выследить и выловить – пара пустяков.

– С чего вы взяли, что он англичанин? – обернулся к генералу Фандорин. – Все убийства совершены в лондонских трущобах, где проживает множество выходцев с европейского континента, в том числе и русских. Кстати говоря, английская полиция подозревала в первую очередь иммигрантов-медиков

– Отчего ж непременно медиков? – поинтересовался Ижицын.

– А оттого, что изъятие внутренних органов у жертв всякий раз производилось весьма искусно, с отличным знанием анатомии и к тому же, вероятнее всего, хирургическим скальпелем. Лондонская полиция была совершенно уверена, что Джек Потрошитель – врач или студент-медик.

Прокурор Козлятников поднял ухоженный белый палец, сверкнул бриллиантовым перстнем:

– Но с чего вы взяли, что девицу Андреичкину убил и расчленил непременно лондонский Потрошитель? Будто у нас своих душегубов мало! Надрался какой-нибудь сукин сын до белой горячки, да и вообразил, будто с зеленым змием воюет. Сколько угодно-с.

Коллежский советник вздохнул, терпеливо ответил:

– Федор Каллистратович, вы ведь прочли отчет судебного врача. С белой горячки так аккуратно не препарируют, да еще «режущим предметом хирургической остроты». Это раз. Так же, как и в Ист-Энде, отсутствуют обычные для преступлений подобного рода признаки полового беспутства. Самое же зловещее – следы окровавленного поцелуя на щеке убитой, и это – три. У всех жертв Потрошителя такая кровавая печать непременно присутствовала – на лбу, на щеке, однажды на виске. Инспектор Джилсон, от которого я узнал эту подробность, не склонен был придавать ей значение, ибо причуд у Потрошителя было предостаточно, и куда менее невинных. Однако из тех немногих сведений, которыми криминалистика располагает о маниакальных убийцах, известно, какое значение эти злодеи придают ритуалу. В основе серийных убийств с чертами маниакальности всегда лежит некая «идея», толкающая монстра на многократное умерщвление незнакомых людей. Я еще в Лондоне пытался втолковать руководителям следствия, что главная их задача – разгадать «идею»

маньяка. Остальное – дело сыскной техники. То, что типические черты ритуала у Джека Потрошителя и нашего московского душегуба полностью совпадают, не вызывает ни малейших сомнений.

Конец ознакомительного фрагмента. Читать дальше:

[Перейти](#)